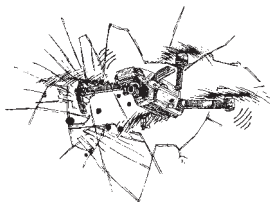


*С благодарностью моим друзьям —  
Дмитрию Бирману, Ирине Витковской,  
Анаит Григорян и Александре Николаенко*



Есть те, что живут жизнь от самого младенчества. Любой их поступок — продолжение далёкого детского жеста. Всякое слово началось много лет назад вздохом, каждая мысль была когда-то детским сновидением. Они счастливы. Им есть откуда набрать сил: они крепче других держатся за ствол, а тот уходит корнями в невоспоминаемое, ветвями в невообразимое. Сами тот ствол. Кровь их — сок, питающий будущее. Потому и живут просто, потому и грехи их понятны даже неопытному исповеднику.

Мы не такие. У нас что ни грех, так дрянь душевная, пакость ввевшаяся, которую не вычистить, не застирать. Живём на самых концах веток, чем дальше от ствола, тем лучше. Мы листва. Это мы шелестим, шуршим, трепещем. Вначале только сочимся мёдом почек, чтобы потом, изъеденные тлём и паршой, скрючиться в злобе и обиде да жаловаться всякому нездешнему ветру. Наконец сорваться и полететь прочь, подальше от этих мест, прочь, прочь, чтобы гордо стать перегноем в чужом лесу. Мы презираемы, но желанны. И чем мы ярче, тем суше наши души и ближе день, когда мы вырвемся на свободу. И если повезёт, если ветер будет

силён, даже пусть будет он бурей, мы рванём что есть мочи и если не поломаем ствол в щепы у самой земли, то оторвём ветви, потому что дали ветру убедить себя, что это наши ветви, только наши.

## I

Забор перед беляевским домом за зиму совсем сгнил. Прошлым летом Беляев укрепил его где можно, даже заменил пару штакетин, хотел ещё и покрасить, но когда принялся сдирать похожую на щетину Синей бороды старую вспученную краску, увидел, что под ней совсем труха. За весь сентябрь, против обыкновенного для этих мест, выдалось только два солнечных дня, а остальное время то моросило, то лило, забор напитался влагой и торчал над запутанной и полёгшей травой тёмным, тяжёлым укором беляевской бесхозяйственности. В декабре его почти полностью занесло снегом. По весне Беляев уже не пытался его поправить, а лишь толкнул сгоряча — и сразу повалил столбы вместе со штакетинами, основательно, казалось бы, торчащие из почерневшего сугроба. Остался стоять последний, у соседского дровника. Жестяной почтовый ящик, висевший прежде на калитке, он снял и примотал проволокой к рябине под окном. Теперь Леониду, второй год служившему в Чмарёвском отделении связи почтальоном, приходилось оставлять велосипед возле фонаря и идти по раскисшей тропинке до самого дома. Он совал в ящик «Судогодский вестник» и стучал монеткой в стекло.

Беляев выходил, здоровался, пожимал Леониду руку, и они говорили о футболе.

По-настоящему, Беляеву на футбол было наплевать. У него и телевизора не имелось. Беляев отвык смотреть ящик ещё в Москве, пристрастился читать интернет, а всем новостям предпочитал сплетни из социальных сетей или пиратские фильмы. Леонид рассказывал Беляеву, что раньше чмарёвцы и селязинцы болели за ЦСКА, но после того, как приехавшие на пяти автобусах фанаты московского клуба поломали скамейки на центральном стадионе Владимира, болельщиков армейцев в городе поубавилось, а по деревням не осталось и вовсе. Теперь тут следили за «Спартак» или «Локомотивом». И только беляевский сосед Пухов, который в молодости служил командиром БЧ-пять на Балтийском флоте, болел за «Зенит». Когда играла любимая команда, он на прибитом к сараю дрыне-флагштоке поднимал военно-морской флаг давно не существующей страны, выставлял телевизор в окно и звал Беляева. Соседа не уважить было нельзя. Беляев выходил из дома, садился на раскладной туристический стул и делал вид, что смотрит. Сам же щурился на закатное солнце, дребезжавшее в листве трехсотлетней ветлы, попыхивал электронной сигареткой и пытался думать о приятном.

Приятного в жизни Олега Беляева в последние три года случалось совсем мало. К сорока девяти годам оказался он одинок и, если не стесняться говорить честно, беден. Развёлся с двумя жёнами, от

которых успел дожждаться холода и упрёков, но так и не дождался детей. Собственную фирму, пестуемую годами, по простоте душевной и лености немногочисленных сотрудников потерял, оставшись с огромными долгами. Кредит, взятый на дом в кооперативе под Можайском, отдать не смог, да и дом тот жулик-застройщик не поднял выше второго ряда кирпичей над потрескавшимся и уже кое-где проросшим сорняком фундаментом. Проценты по кредиту Беляев вначале выплачивал аккуратно, потом стал пропускать сроки, разговаривал с вежливыми, но настойчивыми сотрудниками банка, а через год, после трёх месяцев просрочки, когда банк нанял коллекторов и те принялись названивать каждый день в десять часов утра, рассудил, что за такую нервотрёпку ничего банку не должен, и перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров.

На новое дело средств не хватило, а в Москве Беляев со своими двумя высшими образованиями оказался не нужен. От съёмной квартиры и автомобиля пришлось отказаться. Тогда-то он и придумал на время уехать жить в деревню, забиться в дальний угол, чтобы переждать, пока успокоятся кредиторы или что ещё переменится. Авань не оставят его небеса, потому как, по инвентаризации Беляевым собственной души, зла настоящего в жизни он никому не сделал. Беляев продал трёхлетнюю «Тойоту» с хромированными, блестящими молдингами и купил домик под Владимиром, на самой окраине старинной деревни

Селязино. С этой окраины, с небольшого пупыря за территорией бывшего коровника открывался умиротворяющий вид на Синеборье.

Ровно между Селязиным и Чмарёвым, позади огородов, столетиями отражало сочные мещерские облака небольшое моренное озерцо. Не то что проезда, тропинки к нему ни с шоссе в Судогду, ни с единственной деревенской улицы было не видать. Впадали в озерцо местные ручейки да мусорные речки-вертлявки. И те, что кружили меж раскисших, поросших осокой берегов, и те, что, обернувшись вокруг камней и валунов Чмарёвой балки, вдруг раздумывали бежать дальше до Войнинги. В Чмарёве про селязинцев незло говорили, что предки тех были рыбы из того самого озерца. Дескать, в засушливый год повылезали они на берег, да так и остались. И верно, у большинства сельчан глаза были рыбы, навывкате. Женщины, даже нерожавшие, грудью казались плоски, плечами покаты, а мужики все, как на подбор, лопоухи, словно не уши то, а выставленные в сторону жабры в желании надышаться туманом и моросью.

Из окна беляевского дома были видны грязноватые жестяные крыши селязинских домов, бараки, выстроенные ещё для эвакуированных, старый заброшенный ток, поросшие цикорием края силосной ямы да трансформаторный щит. Но здесь было лучше, нежели в столице. Даже в часовой прогулке до магазина и обратно по нижней дороге мимо гор сваленных обрезков с пилорамы, мимо выпаса и старой

сеносушительни с дырявой крышей виделось Беляеву больше пользы для души и тела, чем в сутках нервных электрических занятий перед экраном офисного компьютера.

Первой селязинской зимой Беляев много размышлял о жизни. Пока он ещё не приколотил заново доски чёрного пола, дуло из всех щелей и ему приходилось вскакивать среди ночи и заново растапливать печь. Но, всё едино, Беляев мёрз, кутался в ветхое ватное одеяло, оставшееся от прежних хозяев, и мысли от того в голову приходили сплошь унылые. По тем размышлениям получалось, что, вроде как, и поделом ему. И от этого «поделом» становилось на душе одиноко и шершаво, он ворочался, кряхтел, кашлял облачками пара в холодный воздух комнаты, наконец вылезал из постели, ставил чайник на плиту, включал приёмник и под бодрые утренние голоса ведущих местной владимирской радиостанции вновь кормил печь дровами.

Если назвать душевные качества, делающие русского человека русским, все они собрались в Беляеве. Был он смел, но не предприимчив, талантлив, но ленив, отчаянно ленив, но честен, честен, однако подетски наивен, наивен, однако терпелив.

Дом этот он выбрал по фотографии в сети: ровные, крашенные зелёной краской брёвна фасада, белые резные наличники на четырёх окнах, шапочка будки-фонаря над фронтоном. Пушистая цветущая яблоня перед крыльцом тоже попала в кадр.

В объявлении писали, что есть две комнаты, с мебелью, кухня, подсобные помещения, дворовые постройки и инвентарь. На фотографиях аккуратные интерьеры деревенского дома, такого же, как был у семьи матери под Невелем. Десять минут до остановки на Владимир и Судогду, колодец на участке, газ в перспективе.

Он приехал скоростным в одиннадцать утра в последнюю апрельскую субботу. Улыбчивая агентша встретила Беляева на вокзале во Владимире, посадила в синий, словно искрящийся на солнце, корейский автомобиль и повезла узкими улицами города мимо уютных небольших домов. Она не умолкая нахваливала этот «хороший крепкий дом», говорила, что большая удача и редкость найти в столь популярных у москвичей местах такой «хороший крепкий дом за такие смешные деньги».

— Налево наша гордость, Успенский собор, он был перестроен при Екатерине, тогда добавили колокольню. А это бывшее здание городской думы, далее, справа, торговые ряды.

Беляев смотрел куда она велела. Ему нравилось. Красиво. Он приезжал сюда в детстве, с классом на экскурсию из Ленинграда. В первый же вечер у него схватил живот, и все три дня, что одноклассникам показывали то Суздаль, то Муром, провалился в спортивном зале школы, где их поселили, то и дело выбегая в туалет, поэтому помнил мало. Почти ничего. Но собор помнил. Он же был знаком Беляеву по многочисленным



репродукциям и фотографиям. Автомобиль свернул вправо, потом ещё раз, проехал под проспектом и покати́л по длинному мосту через Клязьму.

— Если обратить взгляд назад, то открывается величественный вид на левый берег реки, ансамбль Успенского собора, смотровую площадку со скульптурным портретом Князя Владимира и далее зданием бывшего Дворянского собрания в классическом стиле, за которым ясно различим купол Андреевского храма, — произнесла агентша с интонацией заправского экскурсовода и улыбнулась во весь рот.

— Я до того, как стать риелтором, группы водила, — добавила она уже обычным голосом, — деньги хорошие, но суеты много.

Они ехали по шоссе, куда-то поворачивали. Олег думал, что не мешало бы запомнить дорогу, но, убаюканный солнечным дребезгом в ветвях деревьев по краям шоссе, закемарил. Проснулся, когда агентша положила руль вправо, мелькнул щит с указателем «Трухачево-Исаково» и маленький корейский автомобильчик затрясся по плохому асфальту, рыская из стороны в сторону, объезжая выбоины с острыми краями. Навстречу то и дело попадались лесовозы.

— Тут вырубки, что ли?

— Вору́ют, — кивнула риелторша, — начальство оформилось как фермеры, получили делянки в окрестных лесах, пилят, рубят, возят. У вас не так?

Беляев не знал, как «у нас». Он не очень понимал, где именно это его «у нас». Этого его уже вроде

и не было. Только могилы родных на погостах да квартиры, оставленные бывшим жёнам. Только и есть всего его, что купленный гараж в гаражном кооперативе на юго-западе Москвы, где свален весь беляевский немногочисленный скarb: остатки мебели от расформированного офиса его издательства, пять компьютеров, коробки с документами, несколько вязанок книг по параллельным вычислениям, собственный икеевский диван, тумбочка, разборный кухонный стол, торшер и самокат. Ещё два чемодана с одеждой, которая уже либо вышла из моды, либо стала мала. Беляев вдруг начал полнеть после сорока.

По узкому мосту пересекли небольшую реку, и дорога резко пошла по дуге, взбираясь на холм. Церковь возникла неожиданно. Из-за деревьев на склоне её куполов было не видно. Белые стены в недавней побелке, кое-где установленные свежие леса, высокая колокольня с крестом, увенчанная короной. Вдоль ограды аккуратные клумбы с цветами. Агентша на мгновение притормозила и широко перекрестилась.

— Там источник внизу, со святой водой. Говорят, на опорно-двигательный аппарат хорошо влияет. У меня в колене хрустеть перестало.

После храма дорога делала очередной поворот и наконец выпрямлялась, как физкультурник после сложного упражнения. Они проехали строительный магазин, Олег заметил небольшой мемориал, почту. По обе стороны дороги, нахмутив резные деревянные брови очей, стояли крепкие большие дома некогда